



Сергей Жадан

# ИНТЕРНАТ

MERIDIAN CZERNOWITZ

Сергей Жадан

**Интернат**

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

**Жадан С.**

Интернат / С. Жадан — «Мультимедийное издательство  
Стрельбицкого»,

ISBN 978-966-97679-0-5

...Однажды, проснувшись, ты видишь за окном огонь. Ты его не разжигал. Но тушить придётся тебе... ...Январь 2015 года. Донбасс. Паша, учитель одной из школ, наблюдает, как линия фронта неуклонно приближается к его дому. Случается так, что он вынужден эту линию пересечь. Чтобы потом вернуться назад. И для этого ему как минимум нужно определиться, на чьей стороне его дом...

ISBN 978-966-97679-0-5

© Жадан С.  
© Мультимедийное издательство  
Стрельбицкого

# Содержание

Интернат	6
День первый	8
Конец ознакомительного фрагмента.	19

# Сергей Жадан Интернат Роман



УДК 821.161.2-31  
Ж 15

**Сергей Жадан**

Интернат (Текст) роман / Сергей Жадан – Черновцы: Меридиан Черновиц, 2017.

...Однажды, проснувшись, ты видишь за окном огонь. Ты его не разжигал. Но тушить придётся тебе...

...Январь 2015 года. Донбасс. Паша, учитель одной из школ, наблюдает, как линия фронта неуклонно приближается к его дому. Случается так, что он вынужден эту линию пересечь. Чтобы потом вернуться назад. И для этого ему как минимум нужно определиться, на чьей стороне его дом...

УДК 821.161.2-31  
Ж 15

Издание осуществлено по заказу Международной литературной корпорации Меридиан Черновиц.

ISBN 978-966-97679-0-5

© Сергей Жадан, текст, 2017

© Меридиан Черновиц, 2017

© Елена Мариничева, перевод на русский язык, 2017

© Олена Гудима, оформление, 2017

Все права защищены

## Интернат

- Поезжай, забери его, кричит отец.
- Её сын, – откликается Паша, – пусть сама забирает.
- Он твой племянник, – напоминает отец.
- И что?
- Он мой внук.

И всё это, не выключая телевизор. Телевизор он не выключает даже ночью. Он у них как вечный огонь – горит не столько в радость живым, сколько в память о мёртвых. Отец слушает прогноз погоды, будто в нём должны упомянуть его имя. Когда прогноз погоды заканчивается, сидит какое-то время, словно не веря услышанному. Паша телевизор не смотрит, особенно последний год, когда новости просто пугают. Сидит в своей комнате у стола, заваленного учебниками, потом не выдерживает, поднимается с дивана, выходит на улицу. Отец оборачивается на звук – диван выстреливает пружинами, будто сухие ветки трещат в скаутском костре. Мебель в доме старая, но живучая – нынешних хозяев наверняка переживёт. Сестра предлагала хотя бы кресла перетянуть, но Паша отмахивался. Какое там перетянуть, говорил, это, говорил, как подтяжку в семьдесят лет делать: можно, конечно, но лучше применить обезболивающее. Сестра в последнее время почти не появлялась, так что и про перетяжку никто больше не говорил.

Паша любил их дом, жил тут всю свою жизнь, собирался жить дальше. Его построили немецкие пленные сразу после войны. Это было довольно просторное здание на две семьи. Вторая улица от железнодорожной станции, плотно заселённый частный сектор, где жили преимущественно станционные работники. Всё их селение и строилось вокруг станции – она давала работу, она давала и надежду, – сама похожая на чёрное от паровозного дыма сердце, прокачивающее кровь окрестных балок и лесополос. Даже теперь, когда депо стояло пустым, словно бассейн со спущенной водой, и в мастерских жили разве что ласточки и бомжи, жизнь всё равно держалась станции. Просто теперь не было работы. Почему-то именно в рабочих посёлках работа исчезает в первую очередь. Мастерские прикрыли, и все разошлись по своим делам, попрятались в тесные дворы с пересушенными палящим летом колодцами и погребями, запасы в которых заканчивались ещё до Рождества.

Хотя вот Паше грех жаловаться – какой-никакой бюджетник. Да-да, думает Паша, выходя на улицу и прикрывая за собой обитую больничными одеялами дверь, какой-никакой бюджет, какой-никакой бюджетник. Снег во дворе розово-синий, отражает предзакатное солнце и вечернее небо, темнеет глубокими порами. Острый на ощупь, отдаёт мартовской водой, прикрывает собой вязкий чёрный грунт, так что никаких прогнозов не нужно – зима будет длиться долго, все успеют приспособиться, измучиться и привыкнуть. А когда привыкнут – тогда и начнётся что-то другое. Пока же мир напоминает горстку снега в тёплых руках – тает, стекает водой, но чем дальше, тем холоднее становятся ладони, всё меньше в них тёплого внутреннего движения, всё больше ледяной стылости. Вода, даже талая, остаётся убийственной, солнце тонет в сложной системе водяных зеркал и отражений, согреться им никто не успевает – сразу после обеда, вслед за влажными гудками, висящими над станцией, начинаются сумерки, и мгновенно исчезает ощущение оттепели, обманчивое чувство тепла.

Паша обходит дом, размокшей тропкой пробирается между деревьев. Дом этот они всю жизнь делили с каким-то работником станции. Половина принадлежала ему, половина – дружной Пашиной семье: папе, маме, Паше, сестре. Лет пятнадцать назад, когда все ещё жили вместе, работник станции свою половину сжёг. Успели потушить. Но вот отстраиваться железнодорожный работник не захотел – пошёл на станцию, сел в поезд восточного направления и навсегда исчез из их жизни. Сгоревшую часть здания просто развалили, побелили стену, жили

дальше. Снаружи дом напоминал полбуханки хлеба на магазинной полке. Отец всегда так и покупал – половину, чтобы не платить лишнего. И чтобы не оставалось лишнего. Жизнь на станции научила.

Чёрные деревья в снегах, острые ветки на фоне красного неба – за забором начинается улица, белые соседские домики, кое-где жёлтые апельсины электрических огней, сады, заборы, трубы, из которых поднимаются дымы, словно это усталые мужчины стоят и разговаривают на морозе, выпуская из лёгких тёплое январское дыхание. Улицы пусты, нигде никого, только на станции время от времени сцепляются вагоны, металлом об металл, будто кто-то передвигает железную мебель. И ещё с юга, со стороны города, весь день с самого утра тяжёлые одиночные взрывы – то чаще и интенсивнее, то реже. Эхо высоко расходится по воздуху, акустика зимой перепутана, трудно точно определить, откуда летит, где падает. Свежий воздух, запах влажных деревьев, напряжённая тишина. Так тихо бывает лишь тогда, когда все замолкают и начинают слушать. Паша считает до ста и идёт назад. Десять. В прошлый вечер было шесть. За то же самое время. Интересно, что скажут в новостях?

Отца застаёт на кухне. Тот стоит, согнувшись, возле стола, собирает свою спортивную сумку.

– Далеко? – спрашивает Паша.

Хотя что спрашивать – ясно же, что за внуком собирается. Демонстративно бросает в сумку газету (как можно перечитывать уже прочитанные газеты? Это же всё равно, что пересматривать разгаданные кроссворды), очки (Паша всегда ругается с ним из-за этих очков – толстое стекло, искривлённое изображение, ты уж лучше солнцезащитные носи, говорит отцу, всё равно ничего не видно), пенсионное удостоверение (если повезёт – проедет бесплатно), истёртый, словно морской камень, мобильник, чистый носовой платок. Отец сам стирает и гладит свои носовые платки, не перекладывает это на дочь, не хочет. Раз в месяц встаёт у гладильной доски, старательно водит по серым от времени носовым платкам, словно высушивает обесцвеченные банкноты. Паша ему постоянно приносит бумажные салфетки, но отец продолжает пользоваться своими платками, давняя привычка, ещё со времён работы в станционной конторе – когда бумажных салфеток просто не существовало в природе. Да и не бумажных тоже. Пользоваться мобильником отец почти не умеет, но постоянно таскает его с собой – побитый корпус, затёртая зелёная кнопка. Счёт ему пополняет Паша, сам он так и не научился. Вот теперь старательно всё складывает, копается в сумке, молчит обиженно – с ним чем дальше, тем сложнее, невозможно ни о чем разговаривать, обижается, как ребёнок. Паша проходит к плите, пьёт прямо из чайника. Колодцы летом высохли, из крана пить страшно – кто знает, что там нынче в трубах плавают. Поэтому воду кипятят, а водоёмы обходят стороной. Отец молчит, роется в карманах.

– Ладно, – говорит Паша, – съезжу, заберу.

Но отец просто так не сдаётся. Достает газету, разворачивает, сворачивает, складывает вчетверо, суёт назад в сумку. Жёлтые сухие пальцы нервно ломают газетную бумагу, на Пашу он даже не смотрит, горбатится над столом, хочет что-то доказать, воюет со всем миром.

– Ты слышал? – говорит Паша. – Поеду, заберу.

– Не надо, – отвечает отец.

– Сказал же, заберу, – несколько нервно повторяет Паша.

Отец демонстративно достаёт свою газету и выходит. Рванув, открывает дверь в гостиную. Полоса мягкого света от телевизора падает в тёмный коридор. Резко захлопывает за собой, словно закрывается изнутри в пустом холодильнике.

## День первый

Январское утро неподвижное, как очередь в поликлинике. Утренний холод на кухне, графитовый сумрак за окном. Паша подходит к плите, сразу же улавливает сладковатый запах газа. У Паши он всегда ассоциируется с бодрым утренним пробуждением. Каждое утро, собираясь на работу, побросав в портфель тетрадки учеников и учебники, выходить на кухню, дышать сладким газом, пить крепкий чай, заедая его вчерашним хлебом, убеждать себя, что жизнь удалась, убедив, бежать на работу. Этот запах сопровождает его всю жизнь, у него даже аппетита нет, если случается просыпаться вне дома, не хватает домашней утренней плиты, отдающей запахом обожжённых конфорок. Паша смотрит в окно, разглядывает чёрный снег и чёрное небо, садится за стол, встряхивает головой, чтоб окончательно проснуться. Шесть часов утра, январь, понедельник, ещё один день без работы.

Берёт с подоконника тетрадки, листает, кладёт обратно, поднимается, идёт в коридор, заглядывает в комнату. Отец спит в кресле, с экрана до него пытается докричаться кто-то залитый кровью, но напрасно – звук отец выключил ещё с ночи, его теперь не достанешь, как ни кричи. Паша на какое-то мгновение застывает, смотрит на кровь. Тот, что кричит, тоже переводит взгляд на Пашу, и кричит уже ему – не выключай, послушай, это важно, тебя это тоже касается. Но Паша быстро находит пульт, нажимает большую красную кнопку – словно пасту из тюбика выдавливает, бросает пульт на стол и выходит на улицу, – осторожно, чтобы не разбудить отца, прикрывает за собой дверь. Но дверь всё равно тревожно проскрипывает в утренней мгле, отец в комнате сразу же просыпается, находит пульт и молча включает телевизор, в котором происходит что-то ужасное, что касается всех. В это время Паша уже подбегает к станции.

+

Что-то не так, думает он, что-то тут не так. Ни одной живой души, ни одного голоса. Даже локомотивов не слышно. Даже никто ничем не торгует. Тёмно-синий снег подтекает водой, температура чуть ли не плюсовая, но небо в тучах, влага виснет в воздухе, иногда превращаясь в едва ощутимый дождь, дальше на путях стоит туман, и в этом тумане не слышно ни голосов, ни шагов. Рано ещё, напряжённо думает Паша, просто ещё рано. На юге, там, где начинается город, тоже стоит подозрительная тишина, без взрывов, без разорванного воздуха. Из-за угла выезжает автобус. Паша с облегчением выдыхает – транспорт работает, всё в порядке. Просто ещё рано.

Здоровается с водителем, тот опасливо втягивает голову поглубже в воротник кожанки. Паша проходит в пустой салон, садится возле левого окна. Потом не выдерживает, пересаживается к правому. Водитель настороженно наблюдает за всем этим в зеркало, словно боится пропустить что-то важное. Когда Паша перехватывает его взгляд, отворачивается, запускает двигатель, тянет рычаг передач. Обиженно скрипит железо, автобус трогается с места, водитель совершает круг почёта в пустом тумане, станция остаётся позади. В таких автобусах покойников возят, почему-то думает Паша. Специальные такие автобусы с чёрной полосой вдоль борта. Интересно, есть там места для пассажиров? Или вдове приходится сидеть на крышке гроба? И куда я на таком катафалке доеду?

Автобус проезжает одну пустынную улицу, потом следующую. Дальше за поворотом должен быть уличный базар, где пенсионерки каждый день торгуют чем-то мёрзлым. Автобус поворачивает, но никаких пенсионерок, никаких прохожих. Паша уже понимает, что и в самом деле что-то не так, что-то случилось, но делает вид, что всё в порядке. Не паниковать же, действительно. Водитель старательно отводит глаза, гоня катафалк сквозь туман и воду. Нужно

было новости посмотреть, что ли, нервничает Паша. А главное – тишина, после всех этих дней, когда небо на юге, над городом, напоминало накалённую на огне арматуру. Тихо и пустынно, будто все сели на ночной поезд и уехали. Остались только Паша с водителем, но и они тоже, – минуя две многоэтажки, построенные на песках, и автобазу, – выкатываются из посёлка. Длинная тополиная аллея ведет на трассу, тополя выглядывают из тумана, как дети из-за родительского плеча. Где-то там, вверху, уже движется солнце, где-то там оно наверняка появилось, и – хоть его и не видно – всё равно чувствуется. А больше не чувствуется ничего. И Паша насто- роженно рассматривает всю эту влагу вокруг, стараясь понять, что же он пропустил, что хотел пояснить ему тот залитый кровью тип из телевизора. Водитель осторожно объезжает холод- ные ямы, дотягивает до трассы, поворачивает направо. Автобус подкатывает к остановке, при- вычно останавливается, тут всегда кто-нибудь подсаживается. Но, похоже, не сегодня. Води- тель скорее по привычке какое-то время стоит, не закрывая дверей, потом оглядывается на Пашу, будто спрашивая разрешения, двери закрываются, автобус трогается дальше, набирает скорость и выезжает прямо к блокпосту.

– Твою маму, – только и произносит водитель.

Блокпост забит военными: стоят за бетонными блоками, под истрёпанными государ- ственными флагами, молча глядят в направлении города. Сколько раз он проезжал это место за последние полгода, с тех пор как сюда после коротких боёв вернулась державная власть? Отправляясь в город или возвращаясь домой, на станцию, приходилось каждый раз ждать про- верки документов, другими словами – ждать неприятностей. Хотя Пашу всегда пропускали молча, без всяких вопросов – местный, с пропиской всё в порядке, государство к нему пре- тензий не имеет. Паша привык к равнодушным взглядам, к размеренным, механичным дви- жениям силовиков, к чёрным ногтям, к тому, что нужно отдать паспорт с пропиской и ждать, когда твоя страна в очередной раз удостоверится в твоей законопослушности. Бойцы молча возвращали документы, Паша запикивал паспорт в карман, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Государственные флаги размывало дождями, краски блекли, растворяясь в сером осеннем воздухе, как снег в тёплой воде.

Паша смотрит в окно, видит, как мимо них проскакивает джип, обтянутый тёмным желе- зом. Из джипа выпрыгивают трое с автоматами. Не обращая внимания на их рейсовый ката- фалк, бегут в толпу, быстро собирающуюся впереди. Бойцы стоят, перекрикиваются, вырывают друг у друга бинокли, разглядывают трассу впереди, напрягают красные от дыма и недосыпа глаза, обрамлённые глубокими морщинами. Но трасса пуста, пуста настолько, что это пугает. Обычно по ней всё время что-нибудь движется. Несмотря на то что город уже долгое время находился почти в полной блокаде и кольцо вокруг него непрерывно сжималось, кто-нибудь всегда прорывался по этой единственной дороге – то туда, то обратно. В основном это были военные, подвозившие в город боеприпасы, или волонтеры, что доставляли отсюда, с севера, с мирной территории в обложенный город разные вещи, типа тёплой одежды или про- тиво- простудных средств. Кому могли быть нужны проти- вопростудные средства в городе, который обстреливался из тяжёлой артиллерии, который вот-вот должны были сдать? Но это никого не останавливало – целые колонны продолжали прорываться с материка к осаждённым, ино- гда вполне ожидаемо попадая под обстрелы. Хотя понятно было, что город сдадут, что войска вынуждены будут отойти, забрав с собой флаги Пашиной страны, и что линия фронта так или иначе отодвинется на север, к станции, а значит и смерть станет ближе на десяток километров. Но кого это волновало? Гражданские тоже отваживались, рвались – в город по развороченному асфальту. Военные пытались их отговорить, но военным здесь никто особенно не доверял, каждый считал себя самым умным и пёрся под миномёты за какой-нибудь справкой из пен- сионного фонда. И правда, выбирая между смертью и бюрократией, иногда лучше выбирать смерть. Военные злились, иногда перекрывали пункт, но, как только обстрелы стихали, перед блокпостом снова выстраивалась очередь. Приходилось пропускать.

Сейчас же на трассе совсем пусто. Похоже, там, в городе, действительно происходит что-то страшное, что-то способное остановить даже маршрутчиков и спекулянтов. И стоит толпа небритых мужчин, свирепых от недосыпа и безысходности, посреди бетонных блоков и колючей проволоки, и все кричат друг на друга, срывают друг на друге злость. И от толпы, направляясь в сторону их автобуса, отделяется худой высокий боец, – под шлемом, который ему великоват, исступлённые глаза, исступлённые и широко раскрытые, широко раскрыты они, скорее всего, от страха, – боец выбрасывает вперёд руку, мол, стоять, не двигаться. Хотя они и так не двигаются – стоят, замерли, затаили дыхание. В автобусе внезапно оказывается так много места, и воздух становится таким разреженным – хватай его ртом, не хватай, всё равно дышать нечем. Боец подходит к двери и бьёт ладонью по металлу. Автобус, словно затонувшая субмарина, отзывается гулом, водитель излишне резко открывает дверь.

– Куда, блядь? – кричит ему боец и, сторбившись, поднимается в салон. Он вынужден пригнуться, и шлем наползает ему на глаза, Паше кажется, что он его знает, хотя откуда? Откуда? – думает Паша. А боец смотрит недобро, подходит, поправляет шлем, вытирает глаза рукой и кричит Паше в лицо:

– Документы! Блядь, документы!

Паша лезет в карманы, и карманов становится вдруг так много, что он в них теряется и ничего не может найти, и достаёт разный мусор: то влажные салфетки, которыми утром протирает в школе свои ботинки, то распечатанные темы для уроков, то извещения с почты о том, что нужно зайти забрать бандероль. Да-да, думает Паша, испуганно глядя бойцу в лицо, нужно ведь забрать бандероль, бандероль, бандероль. Забыл, думает он, и его кожа в мгновение становится мокрой и холодной, будто его самого протёрли влажными салфетками.

– Ну? – кричит, нависая, боец.

И главное, Паша не может понять, на каком языке тот говорит – на русском? На украинском? Слова из него вырываются так рвано и ломано, что в них нет ни интонации, ни акцента, просто выкрикивает что-то, словно выкашливает простуду. Должен бы говорить на державной, украинской, паникует Паша, месяц назад здесь стояла часть откуда-то из Житомира, ещё смеялись над тем, как он скользил с русского на украинский и наоборот. Они это или не они, лихорадочно соображает Паша, глядя в расвирепевшие глаза, в которых отражается весь его, Пашин, испуг.

– Забыл, – отвечает Паша.

– Шо? – не верит боец.

Водитель срывается с кресла, не зная, как быть – бежать или стоять на месте. И Паша тоже не знает, как быть, и думает: ну как же так, как же так?

В этот момент с улицы кто-то кричит, кричит так резко и протяжно, что боец вздрагивает, разворачивается и рвётся к выходу, отталкивая водителя. Тот падает на своё кресло, но быстро подхватывается и выскакивает вслед за бойцом. И Паша тоже выскакивает, и все они подбегают к толпе, которая вдруг замолкает и расступается. И вот тогда, с юга, из-за горизонта, со стороны города, отрезанного блокадой, будто из невидимой воздушной ямы, начинают валить люди. По одному, по двое, целыми группами, они тяжело выныривают из-за линии горизонта и движутся сюда, по направлению к толпе, что молча стоит и ждёт. Чуть заметные там, на горизонте, они постепенно увеличиваются, растут, словно тени после полудня. Уже никто не смотрит в бинокль, и никто не кричит, словно боясь всполошить эту процессию, постепенно заполняющую собой трассу, растягиваясь на сотни метров. Бойцы идут размеренно, кажется даже, что никуда не спешат, хотя сразу же становится ясно, что идти быстрее они просто не могут – слишком измучены, слишком трудно даются им эти последние несколько сотен метров. Но идти нужно, вот они и идут, не останавливаясь, упрямо приближаются, идут на свой флаг, поднимаются к блокпосту из долины, как пассажиры, которых сняли с рейсового автобуса за безбилетный проезд. Время как будто ускоряется, и всё происходит так быстро, что никто не успе-

вают ни испугаться, ни обрадоваться. Первые уже подходят к выкрашенным краской бетонным блокам, а там, на горизонте, появляются всё новые и новые, и тоже спускаются вниз, направляясь на север, к своим. И чем ближе они подходят, чем отчётливее становятся их лица, тем тише становится вокруг. Потому что теперь видно их глаза, и в глазах этих нет ничего хорошего – только вымученность и стужа. И дыхание у них такое холодное, что от него даже пар не поднимается. Чёрные от грязи лица, яркие белки глаз. Шлемы, чёрные порванные шапочки. Вокруг шей намотаны серые от кирпичной пыли платки. Оружие, ремни, пустые карманы, мешки за плечами, чёрные от смазочного масла руки, перепачканные размокшим чернозёмом и битым кирпичом башмаки. Первые, уже на подходе, всматриваются в лица стоящих с упрёком и недоверием, будто все те, что здесь стоят и их ждут, в чём-то виноваты, и будто всё должно быть наоборот – это им, выходящим из города, следовало стоять сейчас здесь, под низким январским небом и смотреть на юг, за горизонт, где нет ничего, кроме грязи и смерти. И вот первый из них подходит к укреплениям и вдруг выбрасывает вверх сжатый кулак и начинает кричать, словно ругает богов за плохое поведение. Проклинает, угрожает, злится, слёзы текут по его лицу, делая его чище. Толпа расступается ещё шире, и те, что подходят, смешиваются с теми, кто стоит, словно грязная речная вода смешивается с прозрачной морской. Люди уже не вмещаются между холодными блоками, а тот, что пришёл первым, всё стоит посреди толпы и криком кричит что-то про несправедливость и месть, про то, что город сдали, бросили, вместе со всеми, кто там живёт, отдали в чужие руки, не удержали, отступили, вылезли из западни. И хорошо тем, кто вылез, а как быть тем, что остался там, на расстрелянных улицах? Как быть с ними? Кто их оттуда заберёт? Что ж мы, кричит он, не опуская кулаки, бросили, сбежали, предали город? Как же так? Кто за это ответит? Олежа, кричит, Олежа, напарник мой, я его даже закопать не успел, не успел оттащить в снег, лежит, сгоревший, на заправке. На кого я его оставил? Кто его вытащит? Кто? Он кричит и грозит кулаком дождевой туче. Пока кто-то из тех, кто подошёл позднее, протискиваясь мимо него, просто не вламывает ему по голове, мол, заткнись, без тебя паршиво. И тогда начинают говорить все разом: кто-то расспрашивает, кто-то отвечает, кого-то тащат отогревать, кого-то укутывают старым, обгоревшим одеялом. Тут вдруг на пост выходит ещё одна группа – с носилками на плечах, и на этих носилках лежит кто-то до такой степени рваный и окровавленный, что Паша лишь отводит глаза, а какой-то офицер начинает кричать, чтобы подогнали скорую, хотя какая здесь может быть скорая? Носилки перехватывают те, у кого больше сил, и несут их к автобусу, давай, кричат водителю, заводи, отвезёшь его на станцию. Паша думает, что это вообще лучший вариант – вернуться сейчас домой, и тоже делает шаг к автобусу, но возле двери уже стоит военный и, даже не оглядываясь, отталкивает Пашу, тот лишь видит, как носилки осторожно передают в середину автобуса, замечает слипшиеся волосы и сахарную бледность кости, словно бы разрезали дыню, вывернув её сладкое нутро, видит сведённую судорогой руку, вцепившуюся в носилки, держащуюся за них так крепко, как держатся только за жизнь.

Автобус пробует развернуться, но вокруг колышется толпа, все кричат и мешают, мешают и кричат, а кричат больше всего про то, чтоб не мешали. Наконец, кто-то даёт команду, толпа страгивается с места и отползает в сторону, автобус разворачивается и исчезает за поворотом. Пашу оттеснили на обочину, он как-то беспомощно пытается оттуда выбраться, кто-то зовёт его из-за спины, закурить дай, говорит ему боец без шлема с грязными серебряными волосами. Нет у меня, отвечает ему Паша. А что есть, не отпускает его боец. Паша машинально лезет в карман и достаёт оттуда свой паспорт.

+

Паша стоит на обочине, раскуроченной траками и колёсами грузовиков, и пытается вспомнить, где он уже видел такие пальцы, – сведённые судорогой, неживые, хватающиеся за

жизнь. И сразу же вспоминает: прошлая неделя, последний учебный день, свежий ветер, бледное зимнее солнце. Кто-то зовёт его из школьного коридора, он выходит, учителя загоняют детей в классы, те сразу же бросаются к окнам, смотрят, что происходит за ними. Паша заглядывает в класс к своим, так, кричит, всем тихо, сейчас вернусь, но его никто не слушает, мимо Паши пробегает директриса, тяжело колыша своё больное тело. Паша бежит за ней, выходит на школьное крыльцо, останавливается. Около школы стоит джип с военными, вместо номера – боевой лозунг, белым по чёрному, Паша не особо разбирается в лозунгах, поэтому кто такие – не очень-то понимает. Может, добровольцы, может, гвардия. Флаг над джипом такой же, как и на их школе. Значит, власть не поменялась.

Военные озабоченно бегают, кто-то отзванивается, старший подходит к директрисе, твёрдо берёт её под локоть, отводит в сторону, что-то холодно говорит. Паша ловит обрывки фраз, военный не столько просит на что-то разрешения, сколько ставит условия. Нет, говорит военный, нельзя, нельзя в другое место, нужно тут, именно у вас, мы вас защищаем в конце концов, звоните куда хотите, хоть в Киев. Директриса оседает в свой чёрный официальный костюм, сереет лицом и от этого сразу становится старше. Хочет возразить, но не решается. Оглядывается на Пашу, словно ища у него поддержки, а военный, проходя мимо Паши, хлопает его по плечу, отчего с Пашиного пиджака сыплются крошки школьного мела.

Потом к школе подъезжает старая коричневая «таблетка», цвета размокшего хозяйственного мыла, и из неё начинают выносить раненых. Взваливают их на плечи, словно мешки с товаром, – носилок, похоже, нет, тяжело поднимаются по ступенькам, идут по пустому гулкому коридору. Поворачивают направо, облепленными глиной берца-ми открывают дверь первого же кабинета. То есть кабинета украинского языка. То есть кабинета, где Паша учит детей. Кладут раненых прямо на пол, между партами. Паша вбегает следом, сразу же отпускает детей домой, те испуганно переступают через свежую кровь, топчутся в коридоре, Паша тоже выходит в коридор и криком разгоняет класс: домой, кричит, давайте домой, нечего тут стоять. Кричит на русском, как и всегда в коридоре, вне класса. После этого робко приоткрывает дверь. В классе пахнет грязью и кровью, снегом и землёй. Бойцы заносят в класс одеяла, какие-то тёплые вещи, отодвигают парты, растаскивают раненых по углам.

В класс заходит ещё один боец, тащит на плече пулемёт, не вынимая изо рта сигареты. Чёрные волосы, тёмные и от этого недоверчивые глаза, пыль въелась в морщины на лице, – Паша такое видел только у шахтёров, поднимающихся на-гора. Сухо оглядывает раненых, замечает Пашу, кивает, здороваётся, разговаривает с кавказским акцентом. Путается в языках, но старается говорить приветливо, словно для него имеет большое значение, поверит ему Паша или нет. Некоторые слова сразу же переводит с русского на украинский, старается, как на экзамене. Ладно, говорит, не бойся, учитель, не отдадим твою школу, защитим, говорит. Будешь и дальше учить детей.

– А это кто такие? – кивает пулемётчик в сторону портретов.

– Поэты, – отвечает Паша неуверенно.

– Хорошие? – сомневается пулемётчик.

– Мёртвые, – говорит Паша на всякий случай.

– Правильно, – смеётся пулемётчик, – хороший поэт – мёртвый поэт.

Аккуратно открывает окно, ставит пулемёт на подоконник. Словно хочет его проветрить. Паша собирает со стола тетрадки, бросает их в рюкзак и, уже выходя, цепляется глазами за раненого, которого положили рядом с крашеной батареей: два ворсистых одеяла с уже подсохшими пятнами крови, сверху старый затасканный спальник, лицом повернулся к стене, видны только давно не мытые волосы и давно не бритая шея, тут же разрезанный рукав военной куртки, между бинтами – грязная кожа, вся в мелких царапинах, голая левая ладонь выбивается из-под спальника. Так, будто пассажир плацкартного вагона под утро высвободил руку из-под железнодорожного одеяла, облегающего его сонное неподвижное тело, воспро-

изводя изгибы колен и впадину живота, как плащаница воспроизводит тело Христово, и голизна поношенного мужского тела резко выделяется среди узлов и тёплой одежды, брошенной на соседние полки. Так и тут, думает Паша, худая бледная рука, покрытая редкими волосками, выглядит неестественно на фоне выкрашенных летом школьных половиц, на фоне парт и классной доски, и эта рука хватается за спальник, хватается, боясь его отпустить, как будто спальник – это последнее, что связывает её с жизнью. Паша какое-то мгновение не может оторвать взгляда от длинных чёрных пальцев – в порезах и ушибах, с голубоватым бензиновым оттенком, – но тут с улицы врывается свежий зимний ветер, резко распахивает оконную раму, пулемётчик успевает её перехватить. Паша вспоминает, где он, и быстро выходит в школьный коридор, сразу же попадая в объятия директрисы.

– Павел Иванович, Павел Иванович, – плачет она, хватая его за руку. – Как же это? Скажите им, пусть уходят.

Она даже плачет фальшиво, вдруг ловит себя на мысли Паша. Она совсем не умеет плакать, думает он, просто не знает, как это делается. И смеяться тоже не умеет.

– Скажите им, – она продолжает обращаться к Паше на вы, как к кондуктору в трамвае. – Скажите, пусть они уйдут.

– Да-да, – успокаивает её Паша, – скажу, обязательно скажу.

Отводит её в директорскую, помогает сесть, выходит, закрывает за собой дверь. Какое-то время стоит за дверью кабинета, слышит, как директриса, мгновенно успокоившись и перестав всхлипывать, звонит куда-то по телефону, скандалит в трубку.

– Давайте без меня, – шёпотом говорит Паша и идёт домой.

Военные стоят на крыльце, курят. Заходя в здание школы, старательно вытирают ботинки чистой тряпкой. Кровь оттирается плохо. Но оттирается.

+

На влажном ветру остро чувствуешь запахи. От тех, что пришли с юга, отдаёт горелым, будто они долго сидели у костра. Воздух сразу же наполняется тяжёлым запахом мокрой одежды. Пришедших становится всё больше, кто-то сразу идёт дальше, в направлении станции, кто-то грузится в джип, кому-то помогают забраться в кузов грузовика. Места уже мало, один из бойцов, проходя мимо, задевает Пашу твёрдым бронежилетом. Паша сжимается, делает один шаг назад, на обочину, потом ещё один – высокий ботинок топчет снег, перемешанный с жёлтой глиной, потом ещё один шаг, потом ещё.

– Вы бы не заходили туда, – слышит Паша.

Он оборачивается на голос: рядом стоит мужчина, тёмная куртка вольфскин, горные ботинки, рюкзак под ноутбук, заботливо ухоженная щетина, глядит иронично, даже покровительственно. Говорит уверенно, хотя, если присмотреться, можно заметить, что подбородок у него слабоват, вокруг рта капризные морщинки, похоже, он и щетину-то отпускает для того, чтобы казаться brutальнее, чем он есть на самом деле. На вид ему лет пятьдесят, и на Пашу он смотрит, как на младшего по званию. Так пассажиры, едущие с начала пути, смотрят на тех, что подсаживаются в дороге: вроде и билеты у всех есть, но лишние часы, проведённые в купе, дают непонятное преимущество. Зовут его Питер, так он и говорит: Питер – на довольно сносном русском, хотя и не скрывает акцент.

– Лучше не заходите туда, – кивает в сторону кювета. – Без ноги останетесь. И вообще, пойдём отсюда, они сейчас друг в друга стрелять начнут от злости.

Разворачивается, начинает пробираться в толпе. Паша смотрит по сторонам, видит внизу снеговую кашу, бросается вслед за Питером.

Проталкиваются подалее от блокпоста, толпа становится менее плотной, Питер предусмотрительно обходит группу военных, что-то зло доказывающих друг другу, переступает

через раненых, положенных прямо посреди дороги на одеяла и старые пальто. Паша идёт за ним, след в след, стараясь не смотреть в глаза военным. В детстве он так проходил мимо уличных псов: главное, не смотреть им в глаза, посмотришь – сразу почувствуют чужого. За эти несколько месяцев Паша так и не привык к военным, всегда обходил их стороной. Когда оставались возле станции и что-нибудь спрашивали, сухо отвечал, глядя собеседнику за плечо. Но тут их так много, и от всех исходит непонятный смешанный запах – грязи и железа, табака и пороха. Паша опасливо обходит очередную группу, замечает, как недоверчиво глядят на него бойцы, ускоряет шаг, догоняет Питера. А тот подходит к старому синему форду, окружённому военными. Бойцы разложили на капоте самопальную карту с прорисованными от руки тропками и отмеченными красным карандашом высотами. Карта под дождём раскисла и напоминает залитую вином скатерть в привокзальном ресторане. Питер протискивается между военными, кого-то похлопывает по плечу, кому-то, не отрывая взгляда от карты, пожимает руку, сразу же берётся спорить, водит аккуратно подстриженным розовым ногтем по разлезшейся карте, запальчиво кричит. Но бойцы тоже кричат и тоже водят по карте своими пальцами – чёрными и промёрзлыми, не соглашаясь с Питером. Наконец, один из них, похоже, старший, невысокий, крепко сбитый, с коротко стриженным седым ёжиком на голове, плюёт, натягивает на свой большой череп чёрную спортивную шапочку, перебрасывает на плечо автомат и даёт команду загружаться. Высокий старый боец, худющий и сторбленный, садится за руль. Рядом с ним – седой в спортивной шапочке. Все остальные пакуются назад. Питер каким-то образом впикивается вместе с ними, хотя его, насколько можно понять, никто не приглашает, но он всё равно как-то впикивается и даже пытается закрыть за собой дверь, как вдруг что-то вспоминает, выглядывает на улицу и кричит Паше:

– Ну, вы едете? Сколько можно вас ждать? Давайте сюда!

Паша от неожиданности пугается и бежит к форду. Но сзади уже сидят четверо, что ли, бойцов, и поскольку они все в бронежилетах, то кажутся особенно широкими и массивными. Ну и, ясно, Питер – он тоже занимает место, и как они там все помещаются, понять трудно. Паша нерешительно топчется на асфальте, но Питер не сдаётся:

– Давайте, давайте, – кричит, призывно хлопая себя по худому бедру, обтянутому чёрной джинсовой тканью.

Так и едут: впереди горбатый водитель и командир, упрямо старающийся что-то разглядеть на обрывках карты, сзади – бойцы в бронежилетах, Питер, а на коленях у него – Паша. Паше неловко, он никогда не сидел на чужих коленях, разве что ребёнком. Бойцам тоже неловко за Пашу. Воцаряется тишина, слышно только, как глухо постукивают друг о друга бронежилеты.

Форд медленно катит по трассе, обгоняя бесконечную вереницу военных, направляющихся от блокпоста в сторону станции. На их авто оглядываются с надеждой, но, видя количество пассажиров, разочарованно отворачиваются. Ехать приходится недолго: при въезде в посёлок водитель берёт вправо, давит на газ, форд, оставляя глубокие, как надрезы, колеи в жёлтом снегу, подкатывает к мотельному паркингу. Пашу выпихивают первым, за ним на влажный воздух выбирают остальные пассажиры.

Двухэтажное помещение, над главным входом вывеска «Парадиз». В правом крыле кафе, в левом – автомойка, по центру – вход на ресепшн. Окна второго этажа вынесло взрывной волной, хозяева вместо стекла натянули плёнку. Вверху, на крыше, торчит пробитая в одном месте осколком телевизионная тарелка, похожая на утренний подсолнух, повёрнутый на восток, в сторону солнца.

Паркинг забит техникой и машинами – тяжёлые кразы, нерастаможенные легковушки с польскими номерами, куча битых и потасканных авто – без лобового стекла, с исцарапанными дверцами, с оторванными капотами. Вдалеке стоит целый танк, заваленный сверху грязными разноцветными вещами. На броне лежат примотанные верёвками одеяла и спальные сумки,

рюкзак, кто-то даже раскладушку сбоку приспособил. Возле кафе стоит толпа военных – курят, кричат, спорят. Те, что привезли Пашу, тоже присоединяются к ним. Питер скептически оглядывает вывеску.

– Парадиз, – говорит посмеиваясь. – Скорее первый круг ада. Ну, вы идёте? – бросает он Паше и идёт к толпе военных.

Паша не придумывает ничего лучшего, как пойти следом. Почему я за ним иду, – думает он. Почему я вообще его слушаюсь, – спрашивает сам себя, стараясь не потерять в толпе нарочито небрежный хайр Питера. Толкается между военными, заходит в кафе.

Несколько столов, барная стойка, над стойкой, вверху, какие-то охотничьи трофеи: чучело фазана, оленьи рога, даже чья-то отрубленная голова. Паше кажется, что собачья, хотя он может и ошибаться. Сбоку дверь уборной, с другого бока, на стене, – плазма. За столами ни одного свободного места, бойцы сидят, глядя в телевизор на самих себя. За стойкой стоит женщина, смотрит на клиентов с ненавистью, но ненависть у неё какая-то усталая, да и сама она какая-то помятая и недокрашенная, в том смысле, что волосы у неё жёлтые с чёрными корнями, будто в поле среди выжженной прошлогодней травы пробиваются свежие стебли. За её спиной, на полках, стоит кола и горками лежат шоколадки. На прилавке перед ней темнеет сушёная рыба. А всё самое главное женщина достаёт откуда-то из глубины, из-под заваленной рыбой тяжёлой крышки. Достаёт и разливает. Все говорят одновременно, мало слушая и все время перебивая друг друга, и запах от сушёной рыбы стоит такой тяжёлый, будто тут третий день прощаются с покойником.

Питер уверенно продвигается к стойке. Весело кивает женщине, и та делано улыбается, не переставая наливать. Питер о чём-то спрашивает, женщина в знак согласия кивает головой – также не скрывая ненависти, также внимательно осматривая зал. Питер открывает боковую дверь, Паша проскальзывает за ним и оказывается в соседнем зале. Тут тоже стоят столы, тоже всё забито военными, так же шумно и голоса сливаются в угрожающее гудение, но в конце зала, под ступеньками, ведущими куда-то наверх, на второй этаж, стоит маленький столик, как раз на двоих, и Питер направляется напрямик туда, мимоходом здороваясь с бойцом, чёрным от дыма и алкоголя. Тот, не глядя, машет рукой Питеру и что-то говорит, и когда Питер отходит и падает на пластиковый стул, боец продолжает говорить и кивает головой, будто беседует с кем-то невидимым. Паша присаживается рядом с Питером, откуда-то сразу же берётся рыба и алкоголь в пластиковых стаканчиках. Питер небрежно подхватывает стаканчик и даже стучит о чей-то другой – тоже пластиковый и одноразовый. Одноразовое шарканье пластика о пластик, одноразовое переливание алкоголя в горлянку. Питер бодро задерживает свой стаканчик в воздухе, потом чуть заметным движением выливает его содержимое под стол, на каменный холодный пол. После этого достаёт из маленького, едва заметного кармана тоже маленькую фляжку, обтянутую коричневой кожей, откручивает, наливает себе оттуда что-то вкусное. Паше, однако, не предлагает – Паша хватается губами свой стаканчик, переливает в себя горькую обжигающую влагу местного розлива, закашливается, кто-то суёт ему прямо в рот кусок рыбы. Питер смотрит на всё это с цепким внимательным омерзением, причём непонятно, что именно вызвало это омерзение – Паша или рыба. Впрочем, Питер быстро берёт себя в руки и снова улыбается, тут же кричит что-то в толпу, отвечая на чей-то вопрос, и комментирует услышанное за соседним столиком. Отпивает своё и берётся за Пашу.

– Чем вы занимаетесь? – спрашивает.

Паша колеблется – на каком языке ему отвечать. Наконец отвечает на русском.

– Я учитель, – говорит коротко.

– Ага! – смеётся Питер.

Лезет в карман, достаёт одну за другой две пачки сигарет: нераспечатанную, с дешёвыми крепкими, и початую, с более лёгкими, почти без никотина. Дешёвые прячет назад, вынимает две лёгкие сигареты, одну протягивает Паше. Паша отказывается, Питер возвращает лишнюю

сигарету в початую пачку, а вот свою небрежно подхватывает губами, достаёт из незаметного кармашка новенькую зиппо, большим пальцем левой руки умело отбрасывает крышку, прикуривает, прячет зажигалку обратно, затягивается. Он так болезненно морщится, невольно думает Паша, словно самосад курит.

– И где ваши ученики? – спрашивает его Питер, выпуская дым, отчего его голос звучит хрипло и доверительно.

– На каникулах, – объясняет Паша.

Питер охотно кивает головой.

– Ага, – говорит, – на каникулах. Школу и придумали ради каникул, – говорит. – Я на каникулы всегда ездил рыбачить со своим отцом.

– На речку? – уточняет Паша.

– На океан, – говорит Питер.

– На какой океан?

– На Тихий.

Паша не находит, что ответить.

– Вы куда собирались ехать? – спрашивает Питер, не дождавшись ответа.

– В город. – Паша нервно ёрзает на стуле. Питер говорит так приветливо, что ему сразу начинаешь не доверять.

– Ага, – опять радуется Питер. – Дела?

– Дела, – подумав, соглашается Паша. – Племянник в интернате. Забрать хочу. На выходные.

– У вас тут, вижу, каждый день – выходной.

Паша решает, что на это лучше промолчать.

– Наверное, в другой раз заберу, – говорит, помолчав.

– Ага, – поддерживает его Питер, – месяца через два.

– Почему через два? – не понимает его Паша.

– Ну, пока новая линия фронта установится, пока пункт пропуска откроют, – объясняет Питер. – Что же вы его раньше не забрали, раз у вас каникулы? Вы что, новости не читаете?

– Нет, не читаю, – честно признаётся Паша.

– И я не читаю, – тоже признаётся Питер. – Я их пишу, – добавляет он, выдержав короткую паузу и, рассмеявшись, выпускает во все стороны табачный дым.

– И что делать? – растерянно спрашивает Паша. – У него со здоровьем проблемы, боюсь за него.

– Забирайте его сейчас, – советует ему Питер, улыбаясь, – они ещё несколько дней будут выходить оттуда, – показывает он на бойцов вокруг. – Им всем будет сейчас не до вас. В городе власть меняется. Кто знает, что будет с интернатом. Новой власти, – кивает он головой в сторону, где, по его мнению, должна быть теперь новая власть, – не до интернатов. Будут чистить город после ваших.

Паше режет слух это его «после ваших», но он сдерживается, не возражает.

– Там же стреляют? – предполагает Паша.

– Тем более, – соглашается Питер. – Тем более. Не хотел бы я провести каникулы под артобстрелом.

Паша лихорадочно думает. Не находит ничего лучшего, как позвонить отцу. Достаёт нокиа, набирает.

– И связь тоже месяца через два будет, – комментирует Питер. – И то – если ваша власть постареется, – Питер снова делает ударение на слове «ваша». – До сих пор не старалась, – добавляет.

Паша смотрит на экран: покрытия действительно нет. Хотя ещё вчера ночью всё было в норме.

– Они специально глушат, – объясняет Питер, – чтобы ваши, – показывает вокруг, – не знали, какая ситуация. Никто ничего не знает, никто никому не доверяет. Средние века, – добавляет он и старательно давит наполовину выкуренную сигарету в сделанной из пустой пивной банки пепельнице. – Вы не историю преподаёте? – придиричливо смотрит на Пашу.

– Нет, – отвечает Паша, – не историю.

– Правильно, – хвалит его почему-то Питер, – учить в вашей стране историю – как рыбу ловить: никогда не знаешь, что вытащишь. Хотя мне нравится эта ваша любовь к истории, – говорит Питер, достаёт новую сигарету, снова щёлкает зиппо, снова пускает дым в потолок. – Правильно-правильно, разбирайтесь, копайтесь, молодцы. Я бы вам вот что посоветовал... – продолжает Питер, откинувшись на спинку стула и зажав сигарету двумя пальцами, и Паша его слушает, пока вдруг не замечает, как в зал вваливаются четверо военных, и лица у них особенно тёмные, а движения тяжёлые и нервные, и глаза у них красные от злости и дыма, они окидывают взглядом помещение и чётко, безошибочно, сразу вычисляют среди бойцов двух гражданских – Пашу и Питера – и неумолимо направляются в их сторону, обходя другие столы. И за столами вдруг замечают это движение, и разговоры стихают, все смотрят вслед этим четверым, продвигающимся к столику Питера и Паши, все замерли и напряглись, и лишь Питер так увлётся рассказом, что ничего не замечает, сидит ко всем спиной, разглядывает Пашу за ключьями дыма и говорит с такими значительными паузами, будто сам прислушивается к собственному голосу: – Я бы вам советовал осторожно обращаться с историей. История, знаете ли, такая штука... – он замолкает на мгновение, подбирая в голове что-то умное к случаю, как вдруг замечает общую тишину и смотрит на Пашу пристально-пристально, и Паша не может понять, чего он от него хочет, пока внезапно до него не доходит, что он – Питер – смотрит в стёкла его очков, смотрит и видит там отражение этих четверых, нависающих у него за спиной, и на какое-то мгновение паника пробегает по его лицу, нервно дёргается уголок рта, и вена на шее вздрагивает от судорожного желания обернуться, но Питер умело берёт себя в руки, затягивается сигаретой, – правда, немного нервно, но затягивается, аккуратно выпускает дым и заканчивает фразу так: – ...которую никто не имел права у вас отбирать!

– Кто такие? – спрашивает его прямо в затылок первый из подошедших. Паша испуганно разглядывает его берцы – с разбитыми носками, с налипшей прошлогодней травой, наколенники, тоже разбитые, тяжёлые боковые карманы, набитые чем-то острым и железным, акаэм, который он держит на руках, как младенца, что никак не может заснуть, разгрузку с несколькими запасными рожками, ошмётки цветного скотча на рукавах, а главное – нож, торчащий из специального кармана в районе сердца, – с чёрной рукояткой и глубокими на ней зарубками. Паша невольно начинает пересчитывать эти зарубки, но боец повторяет:

– Кто такие?

Второй и третий встают по обеим сторонам, чтобы перекрыть возможные пути к бегству. Хотя какое тут бегство, думает Паша в отчаянии, какое бегство? Четвёртый выглядывает из-за плеча первого и смотрит с таким подозрением, что Паша даже снимает очки, будто чтобы их протереть, а на самом деле – чтобы всего этого не видеть. Тут Питер оборачивается на голос с беззаботной улыбкой.

– Пресса, – говорит он и лезет рукой в глубокий карман, по-видимому, за удостоверением, и все четверо мгновенно напрягаются, но Питер уже вынимает руку и протягивает им бумаги. – Всё в порядке, – старается говорить легко и просто. – Пресса. Вот удостоверение.

Первый берёт удостоверение и, не глянув, передаёт его за спину, четвёртому. Ганс, говорит, проверь. Ганс берёт и внимательно водит красными перемёрзлыми пальцами с чёрной землёй под ногтями вдоль строчек. Питер, улыбаясь, протягивает руку, мол, давай, давай назад, у нас тут интересный разговор, не мешайте. И Ганс, поколебавшись, уже тянет к нему руку с документами. Но на полпути задерживается и ещё раз смотрит в бумаги.

– Ты когда пересёк границу? – спрашивает неожиданно.

– Месяц назад, – говорит Питер, выдержав паузу.

– Угу, – не очень-то верит ему Ганс. – Я тебя тут с осени пасу.

– Да ладно, – с вызовом отвечает ему Питер.

– Да я тебе говорю, – с таким же вызовом произносит Ганс, передавая удостоверение Питера первому. Тот молча смотрит на Питера.

– Послушайте, – говорит Питер, поднимаясь, отчего все четверо снова напрягаются. – Осенью я здесь тоже был. Вот паспорт, там все штампы.

Он достаёт паспорт и протягивает первому. Первый молча передаёт паспорт за спину, сам не сводит с Питера глаз. Тот старается успокоиться, лезет в карман, отчего все в который раз напрягаются, и достаёт сигареты.

– Курить будете? – спрашивает, перебегая глазами от одного к другому.

Но все молчат. А Ганс, полистав паспорт, отдаёт его первому, наклоняется и что-то говорит тому на ухо. Первый кивает и возвращает документы Питеру.

– Так, а в чём проблема? – спрашивает Питер с наигранным беспокойством.

Первый военный долго молчит, глядя на Питера, а когда тот не выдерживает и отводит глаза, произносит:

– Проблема в том, – говорит, – что кто-то стучит. То есть передаёт данные. И похоже, что это кто-то из гражданских.

– Почему из гражданских? – улыбается Питер.

– Потому что всех остальных мы знаем, – отвечает ему военный. – Кто-то стучит. Ты не знаешь кто? – спрашивает он вдруг Питера.

И тут все они вчетвером берут Питера в круг. Тот белеет лицом.

– Нет, – говорит, – не знаю.

– Точно? – переспрашивают его.

– Точно, – без колебаний отвечает Питер.

– Ну ладно, – говорит на это военный. – Можешь идти, – кивает он Питеру и вдруг поворачивается к Паше. – Теперь ты.

Паша растерянно цепляет очки на нос и роется в карманах, находит паспорт, отдаёт его первому. Но тут же чувствует, что этого недостаточно, и нужно их заверить, что всё в порядке и никаких проблем нет.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.